

ГЛАВА 2

ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ XIX В.

2.1. Польское и русское пространства

В русской истории отношения с Польшей занимают особое место, поскольку Польша была единственной колонией, имевшей долгую традицию собственной государственности и культурного развития. Нарастающее в XIX веке движение за восстановление польской независимости привело к обострению «польского вопроса», решение которого стало не только задачей властей, но и предметом культурной рефлексии. Русские литераторы стремились включиться в решение «польского вопроса» — как в качестве официальных представителей русской стороны, так и в качестве собственно литераторов.

2.1.1. Поэтическая география П. А. Вяземского: Россия и Польша*

Татьяна Степанищева

Как показывает материал, амплу литератора и чиновника не могут быть разграничены полностью, так как система образов

* Работа выполнена при поддержке гранта ЭНФ № 7901 ««Идеологическая география» западных окраин Российской империи в литературе». Глава составлена на материале статей автора: «Русское пространство» в сборнике Вяземского «В дороге и дома» // *Humaniora: Litterae Russicae. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение*, VII. Тарту, 2009. С. 394–412; Оппозиция «Россия — Европа» у позднего Вяземского // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. XI. М., 2010. С. 162–182; Стихотворение Вяземского на Нарвский водопад: еще раз о «чужом слове» // От слов к телу: Сб. ст. к 60-летию Ю. Цивьяна. М., 2010. С. 295–305.

и представлений была общей для служебной риторики, эпистолярия и поэтической продукции. Пример такой общности дает биография кн. П. А. Вяземского, на рубеже 1810–20-х гг. отправившегося служить в Варшаву. На Польшу он смотрел как на форпост европейского просвещения в России. Позднее, когда надежды на конституцию не оправдались, роль «передовой окраины» в поэтической географии Вяземского перешла к Остзейским губерниям, где он бывал неоднократно начиная с середины 1820-х гг.

Характерно, что Вяземский критически отнесся к поэтическим откликам на польское восстание 1830 г., которых появилось немало. А главной темой его единственного авторского сборника стихотворений (вышедшего в 1862 г.) стала оппозиция «Россия — Европа», апеллировавшая уже не к имперским, а к европейским политическим сюжетам.

Поэт на окраине империи: Остзейские губернии и Польша

В настоящем разделе мы будем исходить из нескольких устойчивых представлений о Вяземском, которые, как нам представляется, в итоге можно будет скорректировать.

1) Молодой Вяземский (вплоть до конца 1830-х) был решительным либералом в политике и в поэзии (позднейшие его взгляды плохо поддаются однозначной интерпретации).

2) Согласно воззрениям Вяземского, поэзия должна иногда быть «газетой», т. е. отвечать на злобу дня, и собственная поэтическая продукция князя этим воззрениям часто прямо соответствовала (он любил литературные баталии, полемику, журнальные битвы, эпиграммы и проч.).

3) «Прибалтийская» тема занимает определенное место в поэтическом наследии Вяземского.

Вяземский неоднократно бывал в Остзейских губерниях Российской империи. Поездки его начались в середине 1820-х гг. и были обусловлены необходимостью лечения на ревельских водах. Тогда этот способ поправки здоровья входил в моду сре-

ди российского дворянства. Впервые посетив Ревель в 1825 г., Вяземский потом несколько раз приезжал на воды — вместе со своей семьей и с семьей Карамзиных. За это время было написано несколько стихотворений, тематически и сюжетно связанных с Эстляндией и Лифляндией. Самое известное из них — «Нарвский водопад»; другие — «Море» (по письму И. И. Дмитриева Вяземскому определяются обстоятельства создания — «На Ревельский рейд»), «Ночь в Ревеле», «Поручение в Ревель», «Ольге Сергеевне Пушкиной в день ее отъезда из Ревеля», послания в Дерпт В. А. Соллогубу и Н. М. Языкову [Вяземский: III]. «Нарвский водопад» достаточно хорошо изучен как образец романтической пейзажной лирики, чему способствовал отклик Пушкина на стихотворение. Другие тексты изучены хуже.

Мы хотели бы рассмотреть стихотворения, так или иначе связанные с пребыванием поэта в Остзейских губерниях, в контексте авторской биографии (поэтической и политической), и на этом материале суммарно описать место западных окраин империи в картине мира Вяземского. Согласно нашим предположениям, такая контекстуализация поможет уточнить как эстетические, так и идеологические установки автора. Кроме того, учет поэтических влияний на Вяземского (вообще очень податливого на влияния) поможет объяснить эти установки.

Одним из направлений будет сопоставление «польской» и «балтийской» тем в поэзии Вяземского. Особое положение Царства Польского и Остзейских губерний в составе Российской империи позволяет сравнивать не только отношение русских к событиям в этих областях, но и поэтическую рецепцию их современной истории. Вспомним, например, что реформа в Остзейских губерниях 1816–1819 гг. воспринималась как подготовка к отмене крепостного права в самой России, а конституционные проекты в Польше — как преддверие русской конституции. Сходство этих проекций очевидно, и поэтому, как нам представляется, сравнение будет оправданно.

В 1825 г., когда Вяземский впервые посетил прибалтийские края, он уже имел опыт оппозиции и опалы. Его служба в Поль-

ше на рубеже 1810–20-х гг. закончилось неожиданным запретом на возвращение в Варшаву и скандальной отставкой. Тогдашние воззрения и планы Вяземского были весьма либеральными. Он собирался служить делу просвещения: издавать журнал (замысел обсуждался в переписке с Михаилом Орловым, который, собственно, и был инициатором проекта¹), надеялся на русскую конституцию (поэтому его переводы официальных речей с французского на русский были окрашены не только либеральными чувствами, но и сознанием своей миссии по «изобретению» языка новой, конституционной России). Для Вяземского польский период был периодом политических и творческих надежд.

Интересно отметить, что в стихотворениях варшавского периода «польская» тема у Вяземского не соприкасается с актуальными политическими темами. И это расхождение выглядит особенно примечательно, если вспомнить, что автор в то время горел конституционными планами. Среди сочинений варшавского периода (начиная с 1818-го по 1821-й гг.) мы обнаружим эпиграммы, басни и другие тексты, в которых можно искать политические подтексты — тем более, что Вяземский обозначал при публикации место написания. Везде под напечатанными стихами можно видеть указание на очень не-нейтральную *Варшаву*, но кроме этой пометы знаков «местности» в тексте нет. То есть при удалении авторской пометы стихотворение окончательно лишалось точной привязки к ак-

¹ Из письма А. И. Тургеневу: «Я было намеревался доставлять в Россию *вести о свободе*, весьма умеренной и обузданной, вести о действиях здешнего Сейма, нам не чуждых, ибо, как ни говори, а они у нас не только что под носом, но часто могут быть и на носу, но, как я писал Орлову, в обширной спальне России никакие будильники не допускаются, и я намерения своего в дело привести не мог. Эти проклятые потемки, в которых держат нас, неминуемо должны отразиться и на самое Правительство, потому, что оно молчит, оно думает, что и мы ничего не знаем; рано или поздно взойдет день незапный и осветит наше противоположение! Мы идем туда, оно оттуда» [АБТ: 8].

туальным обстоятельствам, приобретало более широкий и одновременно менее определенный смысл.

Свое пребывание в Польше Вяземский описывал как время, не подходящее для свободолюбивых излияний в стихах, ср. в письме к А. И. Тургеневу²:

Только в письмах моих выкидывает из трубы, а дома все под спудом. Я сейчас перечитал свое вчерашнее извержение; храни мою лаву, как золото, если не для себя, так для меня. Я нигде так весь тут не бываю, как в письмах моих к тебе. Мне самому любопытно будет себя поверять. И когда я сделаюсь Вшивой горкою, в письмах моих вспомню, каков бывал я Везувием. Прости, моя Гекла, тепленькая гора студеной Исландии! [ОА: I, 263]

При этом само пребывание в суровых условиях, по оценке Вяземского, влияло на него благотворно:

Меня должно держать на морозе; ум мой гораздо живее при до-
садах и сердце, веселость моя самая плоская: когда я сердит, я
чувствую, что меня что-то подымает; когда я доволен, я опуска-
юсь до толпы. <...> кровь у меня всегда на кипятке, а ум на точке
замерзания.

Варшавской гнили мерзлый пар
Среди зимы родит пожар.

И все это послужит тебе потешными огнями [Там же].

Именно в Польше Вяземский ощущает «мороз», следуя его метафоре, мороз, который «подымает» его, горячит кровь, провоцирует на высказывание. Но это высказывание, как видно по поэтической продукции Вяземского того времени — не о Польше.

Процитированный фрагмент письма, возможно, объясняет отсутствие видимой связи «польской темы» с политической.

² Н. Я. Эйдельман в «Лунине» неверно приписал Вяземскому реплику: «Везде пробивается зелень конституционного порядка! Она выживет гниль самовластия и в самой закоснелой пошве. Это — эпоха человечества, подобная той, которая возникла от новой прекрасной религии 1800 лет назад...». Вяземский является ее адресатом, а авторство принадлежит А. И. Тургеневу (письмо от 16 февраля 1821 года [ОА: II, 163]).

Польские дела Вяземский воспринимал как пролог к либерализации в России, пребывание в Польше было для него пребыванием «на вольном воздухе», после которого придется вернуться домой, в душную, застоявшуюся атмосферу (должно быть, этот образ объясняет и значительное количество неблагоприятных метафор в переписке с Тургеневым); ср., например:

Любите Польшу, желайте полякам успехов на поприще, открытом им рукою, которая вас держит под замком. Ложное направление, данное взорам государя здесь, отзовется гораздо сильнее у вас. Для здешних нет бытия: им остается одно слово. Здесь сказка сказывается, у нас она делается. Окажите некоторое теплое участие в жребии народа, коего Провидение вам вручило, и польза, из сего истекающая, не будет вовсе бескорыстна. Верьте, ваше грядущее разыгрывается здесь! [ОА: II, 81]

Для Вяземского, как и для его современников, Польша была своего рода испытательным полигоном российских либеральных реформ, а наблюдение польских дел провоцировало рефлексию, направленную уже на собственно российскую ситуацию.

Обстановка в Польше на фоне тогдашней России выглядела более привлекательно. В сравнении с русской она как бы и не подлежала критике — поэтому «польская» тема у Вяземского появляется не в политической лирике, а в жанре «дорожных заметок» (см., например, стихотворение «Станция», написанное в 1825 г., т. е. спустя несколько лет после завершения польской службы). На это же указывает и реплика по поводу критики в адрес Карамзина, после адресованной Пушкину просьбы написать что-то в защиту историографа: «Моя плеть здесь совсем развилась и стала мочалка» [Там же: I, 118]. Можно привести и еще одно авторское высказывание с характерным для князя снижением темы:

Нелединский в одиночку пил против зеркала; мне здесь некому читать: дайте мне хотя себя почитать по печатаному и против зеркала охорашиваться и притопыриваться. Я и то хожу как убитый, и пою с Сумароковым:

Савушка-Сава,
Где твоя слава?
Ой ты, Варшава! [ОА: I, 140]³

Из приведенных высказываний можно заключить, что настоящая поэзия предназначалась Вяземским для российского употребления. Ср. также в письме А. И. Тургеневу от 24 августа 1818 г., из Варшавы:

Один я сижу на сухом хлебе и давлюсь прозою. Иногда вскрикну стих, но отзыв отвечает мне прозою, и голос онемевает, и я краснею от стыда, как когда проврешься. Слава Богу, мне редко случается попасть впросак, и я как можно более василильвовничаю⁴. Очень хорошо, только боюсь по привычке вовсе извасилильвовничаться. Присылай мне стихов Жуковского: этот магнит подымает меня немного с земли. Впрочем, дай срок: я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет. Теперь — ни слова, но надеюсь скоро кончить и тогда пришлю тебе свой законносвободный и законоположительный восторг⁵ [Там же: 116].

«Штука», от которой на автора «Сибирью так и несет», — очевидно, стихотворение «Петербург»⁶. Заметим, что стихотворения «Варшава» написано не было.

А пока Вяземский в Варшаве, он временно отказывается от распространения (устного и рукописного) своих стихотворений на актуальные темы, стремясь к более «резонансным»

³ См. также в письме от 15 сентября того же года: «Меня сбили с пахвей, и я с рифмою во рту: ни проглотить, ни плюнуть не можно. Надеюсь, однако же, вымывши голову от пудры, освежиться и доесть свой пирог» [ОА: I, 121].

⁴ Вероятно, здесь означает *писать скверные стихи на случай*. Здесь и далее обыгрывается имя и отчество Василия Львовича Пушкина.

⁵ Вяземский здесь цитирует свои неологизмы из переводов польских речей Александра, «законносвободный» — перевод на русский «либерального».

⁶ См. об этом [Прохорова]. Нельзя исключить, что автор тут мог подразумевать и «Негодование». Оно тоже было написано в Варшаве, а мысль к его сочинению подал Жуковский (т. е. задумано было до 1819 г.).

выступлениям; см. в связи с не пропущенной цензурой статьей о Вольтере:

Меня мучит бес печатания. Право, надоело мне ездить к бессмертию по рукописному тракту. Что мне за удовольствие, что внуки узнают, каков был их дедушка, и дураков будут бить моим именем! Я хочу заживо быть пугалом и бить не на живот, а на смерть, но животом, а не смертью! [ОА: I, 261]

Вся эта активность разворачивалась на «русском» поле. Польша для Вяземского — место службы, более приятное в бытовом отношении, более европеизированное и чуть более прикосновенное к европейскому просвещению, чем Россия. Но сама по себе Польша интересует его мало, лишь в отношении к русскому прогрессу, а вопрос о национальной самостоятельности Польши становится объектом раздумий лишь однажды. См. фрагмент из второй записной книжки (за 1813–1855 гг.; курсив наш):

4-го августа 1819 г.

Иные мгновенные впечатления не только живее, но и полнее долговременных размышлений. Я вчера ехал один из шумной Багатели через уединенную, сумрачную рошу Лазенки. Сей одинокий, неосвещенный замок, сие опустение в резкой картине явили мне судьбу сей разжалованной земли, сего разжалованного народа.

Я часто размышлял об участи Польши, но злополучия ее всегда говорили уму моему языком политической необходимости. Тут в первый раз Польша сказалась мне голосом поэзии. Я ужаснулся! и готов был воскликнуть: «Государь, восставь Польшу! Ты поступишь в смысле природы, если душа твоя встревожена была ощущением, подобным моему! Но если слепое самолюбие ставит тебя на степень восстановителя народа, оставь это дело. Ты не совершишь его во благо. Человеческое несовершенство проглянет в сем подвиге божественном, и ты вынесешь с поприща своего негодование России и открытый лист на осуждение потомства» [Вяземский: X, 28].

Как можно заключить из этой записи, Вяземский тогда «готов был воскликнуть», но все-таки не сделал этого. Его либерализм был, как нам представляется, довольно избирательно настроен (кажется, в этом он мало отличается от своих современников).

менников. Кстати, соположение этих высказываний рубежа 1810–1820-х и реплик по поводу «польских» стихотворений Жуковского и Пушкина 1831 г. в несколько ином свете представляет отношение князя к «польскому вопросу»). В переписке Вяземского с Тургеневым мы найдем несколько замечаний о варшавских осложнениях (о собственной службе больше, чем о поляках самих⁷).

Эта избирательность находила отражение и в стихах. Стихотворения с польской темой принадлежат к «жанровой» поэзии (юмористической и описательной). В ином случае то, что написано в Варшаве, имеет лишь минимальные маркеры «польского» контекста, что позволяет применить их и к другой (русской прежде всего) политической ситуации. Так, например, известно, что «Петербург» и «Негодование», «К кораблю» («Куда летишь, к каким причалишь берегам...»), «Первый снег», «Сибирякову» и «Уныние» Вяземский написал будучи именно в Варшаве — но эти стихотворения гораздо теснее связаны с российскими делами, нежели с польскими, и явно адресованы автором российской публике.

Разумеется, для Вяземского Польша — это часть Российской империи, но так же ясно из его высказываний, что граница не была снята: он осознавал и национальные, и культурные, и политико-административные отличия. Польша для поэта оставалась или поводом для высказывания на общую (чаще — «русскую») тему, или объектом изображения в «жанровых» стихотворениях.

В Остзейские губернии Вяземский, как уже упоминалось, впервые попал летом 1825 г. Путешествующему поэту почти вменялось в обязанность создание рифмованного травелога, поэтому от Вяземского ждали стихов, см. в письме Бестужева от 30 октября 1825:

Мы начинаем печатать «Полярную» и у ледяного моря нашей словесности ждем погоды. Стихотворная часть больно слаба у

⁷ Исключения редки: напр., письмо Тургеневу от 5 сентября 1819 г., и некоторые другие.

нас. <...> дайте весточку. У Вас *Океан* есть, у Вас есть, несомненно, и другие достойные Вас пьесы. Мне не верится, чтоб ревельские красоты не воодушевили Ваше перо. Стоит только пошарить в карманах да *переписать* [ЛН: 230]⁸.

Образцы для поэтического изображения «красот Ревеля» (и вообще Эстляндии и Лифляндии) у Вяземского тоже были — например, повести того же Бестужева (с которым Вяземский довольно часто переписывался в 1823–25 гг.), а также стихотворения Николая Языкова. Это ближайшие из возможных русских precedентов. Очевидно, в числе их был и Байрон — хотя бы по причастности «морской теме».

О первых поэтических впечатлениях Вяземского от Ревеля сообщает записная книжка, куда были внесены стихотворения «Море» и другие, рядом с записями о Байроне [Записные книжки: 116–120]. Первое упомянуто в письме И. И. Дмитриева как написанные «на Ревельский рейд»⁹, что позволяет соотносить появление текста именно с ревельскими впечатлениями. Однако в самом стихотворении никаких специфически «ревельских» деталей мы не найдем.

Это стихотворение, к которому мы однажды обращались в связи с байроновскими увлечениями Вяземского и элегией Жуковского «К морю» [Степанищева], начинает целый ряд текстов на «морскую» тему, в которых обнаруживается как

⁸ Авторы комментария к публикуемым письмам Бестужева отметили, что стихотворения с таким названием у Вяземского нет. Это так, однако в его переписке и записях рубежа 1810–20-х гг. постоянно встречается имя Байрона, чья поэма “Childe Harold’s Pilgrimage” сильно подействовала на Вяземского, принявшего ее переводить ее отрывки. Особенно русского поэта интересовала четвертая песнь, с ее гимнами свободной морской стихии (см., например, прозаический перевод в письме А. И. Тургеневу от 17 октября 1819 г. — написанном из *Варшавы* [ОА: I, 330–332]).

⁹ «Чувствительно благодарю вас за ваше только приписание, а не за стихи к портрету известного ... <пропуск в публикации, в примечаниях указан гр. Хвостов. — Т. С.> Лучше бы вы прислали вместо его собственные ваши стихи, написанные, как мне сказывали, на Ревельский рейд» [Письма Дмитриева: 39].

сюжетная общность, так и мотивное и даже фразеологическое сходство. «Море» Вяземского стало причиной обмена эпистолярными репликами с Пушкиным, ответившим князю и в стихах («Так *море*, древний душегубец...») — после слуха о том, что арестованного Н. И. Тургенева привезли в Россию морем [Пушкин: 290–291].

Это стихотворение 1825 г. не было первым обращением Вяземского к богатой традиции «морской» поэзии. Еще находясь в Варшаве, он написал подражание Горацию, 14-й элегии из первой *Carmina* (*O navis referant in mare...*) — «Куда летишь? К каким пристанешь берегам...» [Вяземский 1986: 124–125]. Появление стихотворения о море в Ревеле, конечно, легко объясняется впечатлениями от местного ландшафта, с Варшавой такое объяснение не сработает. Однако для варшавского стихотворения оно и не нужно — горациев корабль уже современниками прочитывался как политическая аллегория. Вяземский довольно сильно отошел от источника в своем вольном переложении (продолжении), и как раз в сторону политизации и актуализации стихотворения (см. об этом: [Степанищева 2013]).

Интересно то, что увлечение Байроном началось у Вяземского как раз в Варшаве, по его собственному признанию — под влиянием поляка Моравского:

Моравский ничего полновесного не сделал; но, как Жуковский, дал шиллеровское выражение языку польскому и воюет с классиками за романтиков. Он поэт в душе. К сожалению моему, его упекли в генералы и дали бригаду вне Варшавы. Он меня влюбил в Байрона и читал мне его [ОА: I, 336]¹⁰.

Стихотворение «Куда летишь? К каким пристанешь берегам...» было написано в Польше. Корабельная и морская темы

¹⁰ В том же письме, от 25 октября 1819, цитата по-французски: “Roule tes flots, ocean azuré, roule tes eaux profondes! — Vaisseau léger! Vaisseau propice! Tu voles sur l’onde écumante! Peu m’importe le rivage, où tu me conduis, pour vu que ce ne soit pas le mien! Salut, salut, o vagues bleuâtres! O, mon pays natal, adieu!” [ОА: I, 338].

у Вяземского, по нашему мнению, постоянно маркированы как политические (ср. реплику в письме к Тургеневу после стихотворения: «... мне на роду написано быть конституционным поэтом» [ОА: I, 252]). Варшавский «корабль» был политическим стихотворением, но без видимой привязки к местности — что, кажется, подтверждает наши выводы.

Ревельское «Море» тоже оказалось не пейзажным стихотворением, и байроновский контекст, конечно, немало тому способствовал. Увлечение Вяземского «Чайльд-Гарольдом» способствовало модификации морской топики — она стала постоянным кодом для гражданской и рефлексивной лирики. Ср. иронический пассаж в письме Тургеневу из Ревеля от 8 сентября 1825 г.: «Жаль мне, что ты не читал моих писем из Ревеля: многия были в твоём духе, особливо же когда, как приморский житель, говорил я о *судне*. Судно было моим пифическим треножником, и несколько дифирамбов с него слетело» [АБТ: 20].

С другой стороны, следует отметить, что море в поэзии Вяземского также сильно окрашено «в тона» Жуковского (с его элегией «Море» явно прослеживается тематическая связь — элегическая, рефлексивная составляющая сюжета).

Стихотворение «Нарвский водопад», о котором довольно много писали в связи с исследованиями поэтических принципов «школы гармонической точности», также следует рассматривать как, с одной стороны, текст аллюзионный и аллегорический (ср. авторское замечание в письме к Пушкину: водопад — «не что иное, как человек, сбитый внезапно страстью»), а с другой — как реплику на державинский «Водопад» со всеми его политическими подтекстами. Отметим попутно, что приметное выражение «сердитая влага» из описания водопада впервые было использовано Вяземским в варшавском переложении Горация.

Теперь обратимся к тем стихотворениям, которые были связаны с Остзейскими губерниями, но не связаны с «морским» тематическим комплексом, — это послания и шуточные стихотворения. Среди них — «Послание с Николаем Карамзиным в Ревель» («Николай, как Олай заторчит пред тобой...») — написанное как пародия, но позднее воспринятое как непаро-

дийное и поэтому подвергшееся пародированию в «Искре». Пример послания — послание к Языкову («Я у тебя в гостях, Языков, я в княжестве твоих стихов...»): в нем реализована та модель поэтического сюжета Вяземского, которую можно описать как «русское присвоение/завоевание» (ср.: «Он твой, сей Дерпт германо-росский», «вновь Дерпту задал Юрьев день», «Державина святое знамя ты здесь с победой водрузил») ¹¹. Заметим, что из двух «дерптских» русских поэтов — Языкова и Жуковского — был выбран Языков, потому что его муза явно имела больше «русских черт», чем «немецкая» муза Жуковского. В поэтической картине мира Вяземского истинный русский стихотворец должен быть экспансивен, должен завоевывать и подчинять себе пространство, а не подчиняться его давлению и «страсть как легко» привыкать, по слову самого Вяземского в адрес Жуковского-придворного.

Если говорить о биографии поэта не литературной, но житейской, то вне поэзии Ревель казался ему удобным местом для жизни (так же, как в свое время Варшава и Польша):

Я своим Ревельским пребыванием очень доволен и не прочь поселиться в Ревеле года на два, даже и вступить там в службу. Там жить дешево, здорово; там не деревня, но и не столица, не Франция, но и не Россия. Образованное общество, служба благородная; есть свой быт, есть море, есть солнце, которое что-то освещает. Возвратившись сюда, ступай в Ревельские губернаторы [АБТ: 19].

В схожих выражениях Вяземский описывал и свою жизнь в Польше.

Таким образом, как мы пытались показать, Остзейские губернии для Вяземского были — так же, как в свое время Польша — поводом для лирического высказывания на другие темы, содержательная связь же поэтических текстов и пространства, давшего толчок к их появлению, была косвенной. Стихотворения «натурные» были на самом деле аллегориче-

¹¹ Более подробно этот сюжет будет описан ниже, в параграфе, посвященном анализу оппозиции «Россия — Европа» в сборнике стихотворений Вяземского «В дороге и дома».

скими (точнее — в духе Горация), а остальные обыгрывали сюжет присвоения/завоевания, или были стихами на случай (как адресованные О. С. Пушкиной или гр. Соллогубу).

Сказанное выше может быть подтверждено и другими примерами, но, как мне кажется, эти наблюдения уже сейчас позволяют нам сделать некоторые выводы и скорректировать приведенные нами вначале тезисы:

1) Либерализм Вяземского был достаточно избирательным и касался преимущественно российской жизни. При соприкосновении с другими народами и их культурами Вяземского интересовало прежде всего их отношение к России и русскому, в случае с поляками — возможная польза от конституционного проекта императора Александра (возможность на практике проверить российскую теорию). Эстляндия и Лифляндия, похоже, вообще не воспринимались им как «проблемный» регион.

2) Лирические отклики Вяземского на животрепещущие проблемы современности появлялись в описываемую эпоху (с конца 1810-х до 1840-х) несколько реже, чем мы привыкли думать. Литературная проблематика, безусловно, волновала его, но для нее отводилось пространство эпистолярное и отчасти журнальное. Значение же общественно-политической проблематики, связанной со статусом имперских окраин, не приходится преувеличивать.

3) «Балтийская» тема в поэзии Вяземского сама по себе, насколько нам сейчас видится, не существует. Реалии этого региона появляются либо в рамочных конструкциях (маркеры места и повода создания), либо в связи с устойчивой темой «русского присвоения/завоевания». Поэтому, наверное, неудивительно, что Вяземский как поэт не пользовался большим кредитом у формирующейся эстонской читательской аудитории. К концу XIX века в эстонских изданиях появилось всего два перевода из Вяземского — причем с одного, и не вполне оригинального текста — аполога «Человек и мотылек».

В следующей части речь пойдет о позднем (и единственном) поэтическом сборнике Вяземского, в котором отразились, в частности, интересные нас представления поэта о русском пространстве, о его специфике в сравнении с пространством внешним, прежде всего европейским. Основной сюжет, заявленный уже в заглавии сборника, разворачивается на его страницах в череде местных зарисовок и поэтических картин. Сначала речь пойдет об отражении базовой оппозиции на всех уровнях сборника, затем мы сосредоточимся на описании именно поэтической картины России в книге Вяземского.

Оппозиция «Россия — Европа» в поэтическом сборнике П. А. Вяземского «В дороге и дома»

Почти 80 лет назад Л. Я. Гинзбург в статье «Вяземский-литератор» отметила, что эта ипостась ее героя практически не изучена: его имя «механически связывает имена Карамзина, Жуковского, Пушкина — в конечном счете сам Вяземский куда-то “проваливается”, и “замечательным писателем” оказывается не столько он сам, сколько Карамзин или Пушкин» [Гинзбург 1926: 102]. С тех пор ситуация, конечно, изменилась, но работы о Вяземском-писателе по-прежнему малочисленны и фрагментарны.

Изучение осложняется не только объемом творческого наследия Вяземского, значительным числом необработанных архивных материалов, но особенностями его личности, которая препятствовала осмыслению его историко-культурной роли. Для Вяземского характерна крайняя разноречивость идей и идеологических посылок, не только сменявших друг друга (тут понятие «духовной эволюции» много позволяет примирить), но и существовавших почти одновременно. Безразличие автора явно не может служить объяснением подобных противоречий: Вяземский не был эстетом, в поэзии более всего ценил «нравственное применение», часто использовал ее как инструмент в полемике, создавал «иллюстрации в стихах» ко всем идеям, когда-либо близким ему. В этом отношении литературное творчество Вяземского вполне адекватно отражает разноречивость убеждений и позиции автора в целом.

Названные факторы объясняют односторонность и фрагментарность большинства исследований о Вяземском-литераторе. Например, в работах советского времени князь был описан как вольтерьянец — с его высказываниями и примерами из сочинений, в постсоветских (в частности, в последней биографии поэта [Бондаренко]) — как искренне веровавший, но изредка заблуждавшийся, тоже с многочисленными примерами. Так же обстоит дело и с политическими воззрениями Вяземского: прежде ранняя оппозиционность заслоняла его поздний консерватизм, теперь — наоборот.

Эти противоречия естественны, хотя они и осложнили изучение Вяземского. Но соседство противоположных по смыслу суждений в рамках не только одного периода, но и одного текста все-таки должно было привлечь внимание исследователей.

Попытку целостной интерпретации предпринял Е. А. Тоддес в замечательной статье «О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 года» [Тоддес]. Он описал социально-политические воззрения поэта с точностью, которая оказалась недоступна новейшим биографам (В. Бондаренко статья даже не была учтена, судя по списку литературы [Бондаренко: 677]). Тоддес построил свое исследование в основном на публицистике и эпистолярии Вяземского, хотя привлек и некоторые его стихотворения.

По мнению автора статьи, «западничество» («отрицательный патриотизм») и «русофильство» выступают у Вяземского как «выражение политической оппозиционности» [Тоддес: 127]. В отличие от М. И. Гиллельсона [Гиллельсон], Тоддес считает такую позицию Вяземского не компромиссной, а созданной «внутри себя» постоянным «напряжением двух начал» [Тоддес: 129]. Это подтверждается реакцией современников на высказывания князя: они воспринимались не как уравновешивающие или компромиссные, а как парадоксальные (ср. реплику А. И. Тургенева: «Впоследствии ты сам себе противоречишь»). Вяземский постоянно конструировал «некую равнодействующую между западничеством и русофильским направлениями» своей мысли [Там же: 130]. В 1830-е гг. общественно-политический смысл русофильства и западничест-

ва изменился, они потеряли свое оппозиционное содержание, а русофильству был противопоставлен «демократический дух», в Россию «принесенный извне». Вяземский, чье политическое мировоззрение было основано на константной оппозиции «Россия — Европа», в новых обстоятельствах сблизился с официальным направлением — «вплоть до полного, по-видимому, совпадения в стихотворении “Святая Русь”», заметил Е. А. Тоддес [Тоддес: 132]. Хотя очевидно, что в собственных глазах Вяземский не менялся, по-прежнему мыслил себя отдельно от официальной власти. И это несовпадение внешней оценки с внутренней осложняло отношения поэта с новым поколением литераторов, с эпохой в целом. Судьба Вяземского в этом отношении сходна с судьбой других «карамзинистов».

На наш взгляд, концепцию Тоддеса можно применить к более широкому кругу явлений. Во-первых, она может быть распространена на поэтическое творчество Вяземского, а во-вторых, на более поздние его высказывания. Мы хотели бы показать, что подобный парадоксализм проявлен у позднего Вяземского на уровне основных поэтических оппозиций: «Россия — Европа», «свое — чужое», «прошлое — настоящее». Иллюстративным материалом нам послужит единственный прижизненный сборник Вяземского «В дороге и дома» (далее в тексте статьи — ВДД).

Сборник вышел в 1862-м, через год после празднования 50-летия литературной деятельности Вяземского, которое вызвало резкую реакцию в демократической печати. Эпиграммы В. Курочкина и Д. Минаева в «Искре» сильно задели поэта и, как ему казалось, его поколение, его эпоху в целом. Поэтому сборник должен был стать не просто итогом, а ответом недругам и программным выступлением от имени самого поэта и его ушедших соратников¹².

¹² Здесь следует отметить, что распространенное мнение, будто сборник целиком был подготовлен к печати М. Лонгиновым, можно считать несостоятельным после работ К. А. Кумпан [Кумпан 1986; Кумпан 1990]. В них К. А. Кумпан сослалась на ряд архивных документов, доказывающих непосредственное участие

О полемической авторской интенции свидетельствует первоначальный состав сборника — основную его часть должны были составить «Заметки», поэтические фельетоны (ср. замечание комментатора: «...вначале оно <издание> носило публицистический оттенок» [Кумпан 1986: 436]). Потом замысел изменился: число стихотворений выросло, «Заметки» были перенесены во вторую часть («Дома»), а первую, «В дороге», составили «стихотворения, как напечатанные прежде, так и неизданные, которые написаны во время переездов автора по России и по чужим краям» [ВДД]. Таким образом, есть основания рассматривать сборник «В дороге и дома» как итоговый и принципиально значимый для автора.

Открывающее книгу стихотворение «Коляска» (<1826>) выполняет функции авторского предисловия¹³, определяет облик повествователя и жанрово-тематический состав сборника. Герой предстает новейшим Чайльд-Гарольдом, который покидает «великолепный желтый дом» столицы ради «вольного мира воздушной степи» и «свободного пути свободных птиц». Отъезд необходим герою, чтобы «войти в самого себя», потому что в нынешнем веке *мы* «выжало» из человека я,

Вяземского в подготовке издания (авторизованные копии текстов в наборной рукописи, автографы в архиве Лонгинова, переписка поэта и издателя). Доскональная история формирования ВДД ждет своего часа, для нас достаточно того, что Вяземский сам определил состав книги. К. А. Кумпан отметила явную текстологическую недостоверность лонгиновского издания: издатель не всегда соблюдал авторскую волю, изменял стихи без согласования с автором, иногда неверно читал рукописи. Отчасти это было обусловлено крайне неровным участием Вяземского в подготовке книги. Кроме того, такая эдичионная практика была в традициях того времени, и Вяземский не оспаривал поправок Лонгинова — см. об этом [Кумпан 1990: 170]. Хотя текстология ВДД и недостоверна, мы будем цитировать тексты по сборнику, только в случаях разноречий обращаясь к более авторитетным изданиям.

¹³ Имело в первой публикации заголовок «Отрывок из путешествия в стихах. Глава 1. Коляска», в ВДД — подзаголовок «Вместо предисловия» — т. е., всегда мыслилось как вступительное/вводное.

и потому что «жить и мыслить в то же время» герой не способен (точнее, на родине это невозможно).

Предположение о соотнесенности образа повествователя с байроновским героем нуждается в более тщательном доказательстве, однако в пользу его говорит то, что для Вяземского фигура Байрона была актуальна еще в 50–60-е (примерно к 1864 г. относится стих. «Байрон (Дорогою)»), не говоря про 20-е годы¹⁴. Заявленная во вступлении особенность «путешествия в стихах»¹⁵ — сатиричность («Не миновать уж вам / Моих дорожных эпиграмм! / Сатиры бич в дороге кстати...») — в высокой степени свойственна байроновской поэме. Также можно отметить, что у Вяземского, как и у Байрона, ирония оказывается одинаково направлена и на «свое», и на «чужое». Ирония Вяземского направлена на сам текст:

Друзья! боюсь, чтоб бег мой дальный
Не утомил вас, если вы,
Простя мне пыл первоначальный,
Дойдете до конца главы
Полупустой, полуморальной,
Полусмешной, полупечальной,
Которой бедный Йорик ваш
Открыл журнал сентиментальный,
Куда заносит дурь и блажь
Своей отваги повиральной.
Все скажут: с ним двойной подрыв,
И с ним, что далее, то хуже;
Поэт болтливый, он к тому же
Как путешественник болтлив!
<курсив наш. — Т. С.>

¹⁴ Вяземский впервые познакомился с поэзией Байрона в 1819 г., стал его горячим поклонником и более всего любил как раз “Childe Harold’s Pilgrimage”, пытался переводить отрывки из него, побуждал к переводу Пушкина и Жуковского; в 1827 г. опубликовал в «Московском телеграфе» стих. «Байрон» (1825), позднее вошедшее в «Деревня. Отрывки».

¹⁵ Такой подзаголовок был дан автором стихотворению при первой публикации в «Московском телеграфе» в 1826 г.

Нет, дайте строк: стихов разбега
 Не мог сперва я одолеть,
 Но обещаюсь присмиреть.
 Теперь до нового ночлега
 Простите... (*продолженье впрёдъ*).

Мы не можем сейчас говорить об авторском порядке стихов в сборнике, однако начало отдела «Россия» компоновалось, возможно, под влиянием поэмы о Чайльд-Гарольде¹⁶. В первой песне герой, покидая родину, отзывается о ней критически и иронически; у Вяземского в «Коляске» — сатира на столичную жизнь, а в первом стихотворении отдела — «Станция» — сатирическое описание русских дорог и почтовой службы.

В целом порядок размещения отделов и стихотворений внутри них не соответствует ни известным маршрутам путешествий Вяземского, ни хронологии написания отдельных текстов. Поэтому авторская композиция сборника — при ее тщательном изучении по сохранившимся документам — заслуживает отдельного внимания. Мы пока можем выдвинуть гипотезу, что ряд стихотворений первого отдела — «Нарвский водопад», «Ночь в Ревеле», «Море» («Как стая гордых лебедей...»), «Ночь» («Купаясь в синеве эфира...») — также аллюзионно соотносены с началом «Паломничества Чайльд-Гарольда».

Во-первых, водопад, по словам самого поэта, «человек, взбитый внезапною страстью» (письмо Пушкину от 29 августа — 6 сентября 1825 [Пушкин: 223]), ср. *созданье тайной бури, дикий, величавый, противоречие природы, ворвавшись в сей предел спокойный, один свирепствуешь в тиши* etc. — все это черты байроновского героя, каким его восприняли в кругу Вяземского. Во-вторых, несколько стихотворений объединены «морской темой», которая у Вяземского, как нам случилось говорить, была связана, с одной стороны, с Байроном, а с дру-

¹⁶ Отдельного исследования заслуживает вопрос о влиянии «Евгения Онегина» на отдельные тексты ВДД (например, «Станция» и «Коляска») и на замысел сборника в целом. Вопрос напрашивается сам собой после указания на возможное воздействие Байрона (не говоря уже о цитате из вступления к «Онегину» в «Коляске»).

гой — с Жуковским. Эпизод отплытия Чайльд-Гарольда произвел на Вяземского большое впечатление уже при первом знакомстве с поэмой (ср. об элегии «Погасло дневное светило...» из письма А. И. Тургеневу от 27 ноября 1820 г.: «Не я ли наговорил ему эту Байронщизну...» [ОА: II, 107]), а элегия Жуковского «Море» отозвалась почти во всех «морских» стихотворениях Вяземского¹⁷. Хотя герой Вяземского не отплывает, а отправляется в путешествие в коляске, сама ситуация «путешествия в стихах» представляет параллель к байроновской поэме¹⁸.

Оставим эти соображения пока на уровне гипотезы, хотя они и имеют прямое отношение к нашей основной теме.

Первая часть книги состоит из шести отделов: «Россия», «Восток», «Швейцария», «Германия», «Италия», «Франция и Англия»; вторая часть делится на два отдела: «Разные стихотворения» и «Заметки»¹⁹. Очевидно, что в первой части пер-

¹⁷ Стоит отметить, что сюжет «Нарвского водопада» варьирует сюжет элегии Жуковского: если море «отражает» небо, то водопад — «не зеркало их <небес> лазури», «терзает лоно, где родится, / И поглощается в себе» (не гармония неба и моря, а противоречие их и отчуждение героя от природы).

¹⁸ Можно предполагать, что примечание Вяземского при первой публикации «Коляски» также соотнесено с авторским примечанием к «Паломничеству»: ср. замечание Байрона о Чайльд-Гарольде в дополнении к предисловию — «я все-таки, несмотря на многочисленные признаки обратного, утверждаю, что это характер вымышленный»; и замечание Вяземского: «Разумеется, что это путешествие вымышленное: ученый не найдет в нем статистических сведений, политики — государственных обозрений <...> и проч. Не для них оно писано, а для благосклонных охотников до путешествий за тридевять земель, в тридесятое царство и покоряющихся правилу: не любо, не слушай, а врать не мешай» [Вяземский 1986: 488]. Если учесть значимость для русского поэта поэмы Байрона, то, при условии его знакомства с текстом предисловия, аллюзия вполне закономерна.

¹⁹ Вторая часть параллельна первой: она также основана на противопоставлениях «свое — чужое» и «прошлое — настоящее» с характерной для Вяземского позитивной оценкой первого члена

вый отдел — «Россия» — противопоставлен остальным пяти. При этом соотношение второй оппозиции с первой выглядит достаточно сложно. Как минимум чуждым Европе будет здесь раздел «Восток» (единственный из пяти, не означенный именем страны). Он в наименьшей степени быто- и природоописателен (за исключением стих. «Палестина»), большинство стихотворений в нем посвящены встреченным в путешествии знакомцам поэта, а сам Восток скорее литературен (опять же, за исключением усиленно экзотической «Палестины»).

В первом отделе собраны, кроме «морских», стихотворения, посвященные прошлому («Дом И. И. Дмитриева», «Дорожные думы» — три текста), поэтические зарисовки, в которых смешаны ностальгия и легкая ирония («Метель», «Русская луна», «Степь», куплеты «Ухаб», поэтическое обозрение «Очерки Москвы»). «Россия в дороге» противопоставляется столице, с первой связаны два локуса, традиционно символизирующие свободу: море и степь. К «высоким» стихиям здесь добавляется «низкая» — ухабистые дороги (стих. «Русские проселки», «Ухаб. Обозы» и следующий за ним «Ухаб»). Море и степь метафорически уподоблены:

Степь широко на просторе
 Поперек и вдоль лежит,
 Словно огненное море
 Зноем пышет и палит («Степь», 1849).

Земное пространство уподоблено здесь водному: «Обозы, на Руси быть *зимним судоходством* / Вас Русский Бог обрек...»; «сей снежный океан... Кибитка-ладия... ныряет». Так же в стихотворении «Степь» смешаны время и пространство: «Бесконечная Россия / Словно вечность на земле!», а жаркая пыль сравнивается с вьюгой и метелью. Описание России строится на парадоксах и оксюморонах:

Пусто все, однообразно,
 Словно замер жизни дух;

оппозиции. Однако соотношение их с оппозицией «Россия — Европа» будет неоднозначным.

Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.

Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.

Степи голые, немые,
Все же вам и песнь, и честь!
Все вы — матушка Россия,
Какова она ни есть!

Ср. также в «Русские проселки»:

Кому на казнь даны чувствительные нервы
(Недуг новейших дней), тому совет мой первый:
Проселком на Руси не ездить никогда.

По сравнению с этими дорогами меркнут Бородинское сражение, крушение поездов и пожар на пароходе:

... это случаи, несчастье, приключение!
А здесь — так должно быть, такое заведение,
Порядок искони нормальный, коренной...

В последнем примере можно усмотреть авторскую иронию, но в стихотворении «Степь» схожий эпизод лишен иронии.

Ср. также в последнем стихотворении отдела — «Памяти живописца Орловского»:

Север бледный, Север плоский,
Степь, родные облака —
Все сливалось в отголоски,
Где слышна была тоска,
Но тоска — струя живая
Из родного тайника,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска²⁰.

²⁰ Подобное — в стих. «Дорожные думы»: «Мне любо это заточенье <в кибитке>, / Я жизнью странной в нем живу».

«Очерки Москвы» построены на том же приеме, на парадоксах:

Твердят: ты с Азией Европа,
 Славянский и татарский Рим,
 И то, что было до потопа,
 В тебе еще и ныне зрим
 <...>
 В тебе и древний мир, и новый
 <...>
 Ворвался Манчестер в Царьград,
 Паровики дымятся смрадом, —
 Рай неги и рабочий ад!

Это мнение приписано условному коллективному персонажу (*они*), который, как можно ожидать, будет противопоставлен повествователю. «Допотопность» Москвы представлена иронически (старая столица, «в кичке и душегрейке», «как будто за сто лет, живет себе на Маросейке и до Европы дела нет»). Однако далее поэт солидаризуется с мнением этого персонажа: «Все это так — и тем прекрасней! Разнообразие — красота». «Допотопность» предстает как верность прошлому и своим обычаям. Некоторая корявость физиономии знаменует русскую индивидуальность на фоне приписываемого Европе стремления к нивелировке:

Здесь личность есть и самобытность,
 Кто я, так я, не каждый *мы*
 <...>
 Нет обстановки хладно-вялой,
 Упряжки общей, общих форм
 <...>

Недостатки, возведенные в достоинства, оказываются конституирующими чертами России в стихах Вяземского:

Величье есть в твоём упадке,
 В рубцах твоих истертых лат!
 Есть прелесть в этом беспорядке
 Твоих разбросанных палат.

Обычное противопоставление Москвы и Петербурга здесь заменено оппозицией *Москва — Европа/Петербург/современная цивилизация вообще*. Финальный катрен стихотворения:

Здесь повсеместный и всегдашний
 Есть русский склад, есть русский дух,
 Начать — от Сухаревой башни
 И кончить — сплетнями старух

— уравнивает Москву с Россией, представляет ее единственно русским городом в империи (заметим, что других городов в этом отделе, как и во всем сборнике, нет; остальную Россию воплощают только «стихии» — степь, море, Волга, сама подобная морю). Таким образом, образуются окказиональные варианты основных оппозиций: *Россия — Европа, Россия — Петербург, Россия — современная цивилизация*. Они будут организовывать смысловое пространство всего сборника.

Возьмемся еще раз к первым строкам стихотворения («*ты с Азией Европа, славянский и татарский Рим*»). Москва уравнивается с Римом, Европой, Азией, Манчестером, Царьградом и Парижем, а с другой стороны она означена «Маросейкой» с «душегрейкой». Первое — оболочка, второе составляет суть и пахнет «русским духом». Эту поэтическую конструкцию можно считать проявлением русофильства Вяземского, таковым оно и является. В его изображении Россия парадоксальна, исполнена разительных недостатков, которые следует причислить к достоинствам. При этом Москва (= Россия) Вяземского сходна с Европой — но превращенной.

Наше предположение выглядит странным, но обратимся ко второму члену оппозиции, к собственно *Европе*. В «европейских» отделах первой части сборника почти все стихотворения, за исключением «пейзажной лирики», и почти все поэтические сюжеты основаны на *присвоении* Европы Россией или русскими. Причем начинается эта тема *присвоения* еще в отделе «Россия» — в стихотворении «К Языкову, из Дерпта» (1833):

Я у тебя в гостях, Языков!
 Я в княжестве твоих стихов
 <...>

Я в Дерпте, павшем пред тобою!
 Его твой стих завоевал:
 Ты рифмоносною рукою
 Дерпт за собою записал
 <...>
 Державина святое знамя
 Ты здесь с победой водрузил!
 <...>
 Он твой, сей Дерпт германо-росский!

(Заметим, что Языков на момент создания этого текста находился в России, а ко времени формирования сборника был уже давно в могиле).

Второй отдел первой части, как мы отмечали, скорее проходит по разряду «чужого», нежели «Европы». «Восток», следуя за «Россией», в какой-то степени служит пограничным между этим отделом и «европейскими». Восточная экзотика вводится довольно умеренно, через уже привычные мотивы (см., напр., стих. «Ночь на Босфоре» — кипарисы, минареты, каики на воде, «перл восточных дев», нега и т. п.). Большинство текстов отдела адресовано русским знакомым, которых поэт встретил в своем путешествии на Восток. И в этих стихотворениях доминирует мотив «русского завоевания» или «присвоения»; напр., два стихотворения к В. П. Титову, русскому посланнику в Константинополе, или стихотворение кн. В. А. Столыпиной, которой адресованы еще три стихотворения из раздела:

В дому твоём для нас Россия.
 Здесь все, чем нам она мила:
 Креста предания святыя
 И слава Русского орла,
 И языка родного звуки,
 Чтоб сердцу сердца весть подать...
 («15 июля 1849. В. П. Титову»)

Все так же сбор родной дружины,
 Обычай старины любя,
 Радушно на берегу чужбины
 По-русски празднует тебя («15 июля 1850. Ему же»)

К Балканам гордым вас уносит
Нетерпеливая мечта,
А лозунг ваш, — когда кто спросит:
«Святая Русь и красота!»

Вам только показаться стоит
И враг не побежит назад;
Нет, Турков всех себе присвоит
Один ваш огнестрельный взгляд.

Вы амазонкою Славянской
Садитесь храбро на коня
И вас княгиней Забалканской
Провозглашает песнь моя («В поход!»).

Таким образом, в «восточном» отделе на пять стихотворений без адресата («экзотика»), преимущественно с морской темой) приходится шесть адресованных соотечественникам, представленных в том или ином смысле «покорителями Востока». Поэтический Восток у Вяземского — это «обрусевший Восток».

В «европейских» стихах других отделов мы также можем обнаружить доминирующий мотив (а часто и тему) освоения «чужого», «присвоения Европы»:

Не может чуждой Славянину
Быть Чехов славная земля.

<...>

... братья мы и предков кровью,
И первобытным языком:
Должны быть братья и любовью,
И просвещеньем, и добром.

Обманут слух чужим наречьем
И с башен, с стен твоих, с церковей —
Родным Кремлем и Москворечьем
Все ластится к душе моей («Прага»)

Великий Петр! Твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный —
И здесь, среди гордых скал, твой образ незабвенный
Встает в лучах любви, и славы, и побед
(«Памятник Петру I в Карлсбаде»)

А ваш Карлсбад! При вас живая сцена,
 Где Петербург, Париж, Афины, Вена,
 Берлин и Лондон, все на русский лад
 Вам вторили... («Русской крылатой дружине»)

У вас по-русски здесь — тепло и хлебосольно
 <...>

Хоть вы причислены к Германскому союзу,
 Германской чинности вы сбросили обузу
 <...>

<Чай> По православному, не на манер Немецкий
 <...>

Но Русью веющий, но сочный, но густой
 <...>

<В самоваре> льются и кипят всех наших дней преданья,
 В нем Русской старины живут воспоминанья...

(«Самовар», с эпиграфом из Державина
 о «дыме отечества»)

Своею выставкой богата
 Неистощимая земля:
 Здесь грановитая палата
 Нерукотворного Кремля («Горы под снегом»)

Землячки милые, с родимой стороны
 Переселенки в край невянувшей весны,
 В сердечной простоте радушного приема,
 На дальней стороне, у вас мы были дома
 («Прощание с Ниццею»).

Сюжеты приведенных отрывков могут быть сведены к двум вариантам: поэт встречается в Европе Россию, в лице русских, освоивших «чужое» пространство и превративших его в «свое», русское; или поэт сам осваивает Европу, видя или прозревая в европейском русском. Ср. также:

Вдруг Русским на меня повеяло дыханьем
 С вершин, белеющих под снежною грядой
 И грустно помянул я север дальний мой
 («Дорогою из Ниццы в Канны»).

Нет, скорбью, о мой Рим, сроднился я с тобой!
 Сочувствие к тебе и внутренней, и чище:

Родное место есть мне на твоём кладбище
<...>
Здесь Рим сказался мне, здесь понял я в слезах
Развалин и гробниц его и плач, и прах («К Риму»).

Когда, пресытившись природой южной,
Родных воспоминаний след ловлю
И чувствами мне освежиться нужно
И в душу север просится — люблю
<...>
Бродить в саду и думой дальней
Иных дорожек хладный грунт топтать
И в осени, красавице печальной,
Черты давно знакомые встречать (“Giardino publico”).

Причем экспансию в Европу осуществляют не только русские люди, но и неодушевленные (при этом одушевляемые) предметы — деревья, символизирующие «русскость», береза и рябина:

Нам здесь <в Швейцарии> и ты, береза, словно
От милой матери письмо («Береза»).

Тобой, наш Русский виноград,
Меня потешила чужбина
И я землячке милой рад
<...>
И в душу глубоко и мило
Дней прежних запах нанесло («Рябина»).

Заметим, что «Русский виноград» в последнем отрывке подозрительно отзывается давнишним «российским черносливом», только теперь это уже не пародия, а ностальгия. Также проникает в Европу и знаменитая русская зима:

Из-за льдистого Урала
Как сюда ты невзначай,
Как, родная, ты попала
В бусурманский этот край?
Здесь ты, сирая, не дома,
Здесь тебе не по нутру
(«Масляница на чужой стороне», 1853).

Теперь она побеждает немцев, как когда-то победила французов:

Не сумеь им, немцам этим,
 Поздороваться с тобой.
 <...>
 Если немца взять врасплох,
 А особенно зимою,
 Немец — воля ваша! — плох.

В сборнике есть ряд стихотворений, посвященных «местам памяти» (связанным с жизнью или смертью близких Вяземского). Эти места тоже становятся «своими» и, как следствие, «русскими». Например, «Зонненштейн» — где лечился безумный Батюшков, «Баден-Баден» и «Баденские воспоминания» — где умерла Наденька Вяземская в 1840 г., а в 52-м умер Жуковский, «Леман» и «На берегу Леманского озера» — где Жуковский переводил «Шильонского узника»; «Эперне» — посещение которого стало поводом для воспоминания о Денисе Давыдове (о самом городе едва упомянуто).

Отказ усвоить «русское» (напр., сохранить память о знаменитых русских, приезжавших в Европу) становится поводом для критических выпадов поэта, ср. стих. «Фрейберг»:

Но знал ли кто в глуши немецкой школы,
 Что в юноше богатый клад сокрыт
 <...>
 Но и теперь его трудов и славы
 Здесь отклика пришелец не найдет.
 Молва о нем здесь тупо-молчалива;
 Попыткам всем, всем розыскам назло,
 Его следа нет и в пыли архива:
 Глухим забвеньем имя заросло.

Описанная выше идеологическая конструкция реализовалась, конечно, не только в рамках сборника 1862 г. Приведем примеры из более поздних поэтических опытов Вяземского. В 1864 г. он написал два стихотворения императрице Марии Александровне («Государыне Императрице» и «Ея Императорскому Величеству»). В первом описана базилика Сан-Марко, которую посетила императрица: «Вам памятней всего Сан-

Марко стены, / Они всего вам *родственной*, милей». Базилика построена в византийском стиле, и потому неудивительно, что воспринимается как «свой» храм:

Здесь Запада с Востоком примиренье,
И нам не чужд сей иноверный храм.

Оппозиция «Россия — Европа» предстает здесь как антитеза восточной и западной церкви, Востока и Запада. И Запад, Европа оказываются «своими», говорящими на «родном языке»:

И на душу родным Кремлем повеет,
И сотворишь по-русски крестный знак.
И так и ждешь, что «Иже Херувимы»
Раздастся песнь на языке родном —

Чужой европейский город снова поэтически «нострифицирован». В том же году 1864 г. Вяземский написал стихотворение «Марии Максимилиановне, принцессе Баденской»:

Вас, с хладной полночи красавица младая,
По-русски встретила Венеция и мы:
И теплые сердца, и стужа нам родная,
И снег родной, фата прабабушки зимы.
Сан-Марко с площадью под инеем и снегом
Вам древней красотой напомнил о Москве,
А гондолы, скользя меж льдин поспешным бегом,
Как в санках на рысях катались по Неве.
Менясь звуками и складом русской речи,
Вы дни минувшие одушевили вновь;
И все в один привет слилось для нашей встречи:
И русская зима, и русская любовь.

Князь, видимо, был так впечатлен морозом в Венеции, что и в третий раз использовал тот же сюжетный ход — в стихотворении Федору Ивановичу Тютчеву:

Вот и крещенские морозы!
Точь-в-точь на невском берегу:
Метет метелица по Пяце,
Как на Царицыном лугу.

Еще более показательна история с виллой Бермон. На этой вилле в Ницце провел свои последние дни цесаревич Николай Александрович (в апреле 1865). В том же году Вяземский напечатал брошюру «Вилла Бермон», где, в частности, было сказано:

Несомненно, горестное впечатление и воспоминание, глубоко в душу запавшие, навсегда оставила нам Ницца. Но не менее того, или именно поэтому, навсегда и *сроднилась она с нами* <курсив в этой цитате наш. — Т. С.>. Силою событий вторгается и записывается она в нашу народную летопись. Отныне *принадлежит она русской истории* <...> больно думать, что сей дом может со временем попасть Бог знает в какие руки <...> Нет! *Место русское, святое место* <...> не может, не должно оставаться чуждым России. Оно *ее собственность*, законная, ценою страданий и слез благоприобретенная собственность. Почему бы России не купить этого дома, с принадлежащею ему землею? <...> Благо, что в Ницце уже есть русская церковь, можно бы на земле, прилегающей к дому, устроить и кладбище для православных <...> мало ли еще какие богоугодные назначения могут *обрусить и освятить это место* [Вилла Бермон: 16–17].

Призыв Вяземского «обрусить» кусок чужой земли оказался услышан: русское правительство купило виллу. Правда, потом она была разрушена, и часовня оказалась возведена на ее месте, а не устроена в той комнате, где умер цесаревич.

Итак, в стихах первой части сборника Европа предстает как объект своеобразной «русификации»: она «завоевывается» или «осваивается» русскими (на уровне поэтического сюжета) или описывается через сравнение с Россией (на уровне метафор и мотивов). То, что не поддается такой «русификации», становится объектом сатирического изображения («Масляница на чужой стороне», «Фрейберг», «Горные вершины», «Немецкая природа»). «Память о России» становится маркером приемлемости Европы (ср. забвение в «Современных заметках», 1854: «Отдохнув от непогод, / забывается Европа: / Ей двенадцатый наш год — / Как преданье до потопа»).

Однако «истинная Россия», по Вяземскому, также освоила Европу и «помнит» о ней. «Европеизация» России по Вязем-

скому — усвоение культуры, то есть тоже присвоение чужой памяти. Миссия европеизации делегирована русским писателям (ср. планы 1823 г. затеять журнал с критическими обзорами и переводами иностранных книг — чтобы «разливать по России свет Европейский», из письма Жуковскому от 9 января 1823 [РА]). На уровне текста это реализуется в тиражировании сравнений вроде «*НН — это русский NN*»; примеров множество (из ВДД — первые два):

Батюшков — «песнями и скорбью наш Торквато» («Зонненштейн»);

Дмитриев — «давно минувших лет то Рембрандт, то Светоний»; обладатель «Гогарта игривого карандаша»;

Dahin, dahin, Жуковский — наш Торквато!

Dahin, dahin, наш Тициан — Брюллов! (“Kennst du das Land?”, 1836);

Давыдов — «Анакреон под доломаном», «сродни Парни»;

Н. Полевой — «Чем занимается теперь Гизо российский?» (иронически);

Из письма А. И. Тургеневу: после «Славянки» и Элегии «На смерть королевы Виртембергской» Жуковский «может с Шиллером сказать:

И мертвое отзывом стало

Пылающей души моей»

(7 авг. [1819], цит. по: [Вяземский 1984: 376]);

Жуковский «кисть Рафаэля словами перевел» («Дрезден», 1853);

Из письма В. А. Жуковскому: «Ты на солнце европейском (разумееется, буде не прячешься за Китайскую свою стену) должен очень походить на Байрона, еще не раздраженного жизнью и людьми. Я (буде на солнце Европейском созреют и улучшатся мои средства) на какого-нибудь В. Constant...» [РА: 182].

Из авторского предисловия к собранию сочинений: «Жуковский, мой благосклонный, но, когда нужно, и строгий судья, сказал, что могу присвоить себе стих Буало:

Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose.

Кажется, можно приблизительно перевести на русский язык сей стих следующим образом:

И стих мой, так иль сяк, а что-нибудь да скажет.

<...> я думаю, что определение Жуковского довольно верно. Оно мне и в похвалу, и в укор» [Вяземский: I, XXXIII];

Из письма к А. С. Пушкину: «Я в стихах Франклин на французском языке: сдается какое-то чужезычие» (4 августа 1825 г., Ревель);

Из письма А. И. Тургеневу и Жуковскому, 29 сентября [1826]: «Возьмите меня к себе: мне душно здесь! Прежде все как-то были мы в ожидании чего-то; теперь мы как *сироты* Жан-Поля» [АБТ: 40].

Как видно, русское «освоение Европы» по Вяземскому довольно специфично — это усвоение литературной традиции и «высокой культуры» в целом. На этом уровне противопоставление России и Европы снимается:

... все сподвижники высокого служенья
 Во имя грамоты, добра и просвещенья,
 Простые ратники и светлые вожди,
 Которые идут с хоругвью впереди, —
 Все дети мы одной и доблестной дружины,
 Что путь единый нам и лозунг нам единый,
 Что можем мы себя одной семьей почесть,
 Где братьям и меньшим при старших место есть
 <...>

Вот истинный союз любви международной,
 Всем обязательной и каждому свободной

(«Берлин. Барону Мальтицу»).

Для «русского европейца» граница между Россией и Европой становится несущественной; ср. в письме к Жуковскому от 25 ноября 1842:

Дюссельдорф сливается прекрасными оттенками с Белевым. <...> Ты жил для России, живи теперь для себя и это будет жить для России. Можно быть русским и не приписанным к русской земле» [Переписка с Жуковским: 39].

Конечно, нельзя уравнивать Вяземского в 1842-м и в начале 60-х. Однако противопоставление двух типов отношения Рос-

сии к Европе открывает, как нам представляется, и некоторые оттенки поздней позиции князя:

Мой патриотизм держится школы Петра Великого. Надобно быть решительно китайцем, или решительно европейцем, оградить себя наглухо от Европы непроходимую стеною, или растворить ворота, а заваливать дорогу кирпичиками да указами — все это ребячество и ничтожные усилия слабости [Переписка с Жуковским: 39].

Хотя речь здесь идет о правительственной политике, определяет свое отношение к Европе в этом письме именно Вяземский: «указики» — реальная российская политика, «стена» или «растворенные ворота» — два оптимальных варианта отношений России с Европой. Оба одинаково приемлемы, но первый из них после Петра остался в прошлом. «Китайская стена» позволяла сохранять «русский дух», но теперь она разрушена, возврата к прошлому нет, и потому единственно возможным вариантом отношений России к Европе становится вариант «растворенных ворот». Это, собственно, и есть одно из автоописаний противоречивой позиции Вяземского (о нем Е. А. Тоддес в своей статье не упоминает, но оно вполне укладывается в его концепцию).

Итак, противопоставление Европы и России в системе мировоззрения Вяземского является опорным, одним из центральных для самоопределения, но оно не безусловно. «Святая Русь», символизируемая Москвой истинная Россия — ретроспективный идеал, отдельные проявления которого можно обнаружить и в настоящем. Однако память о нем, память об истории российской современности чужда:

Мы совершенно подкидышем как-то отыскались раз под капустою. Не только дедов, но и отцов своих не знаем. А многие уверждают еще, что любят отечество, и, может быть, любят по своему. Да и как и что любить? Истории, преданий своих не знают, языка не знают, нравов, обычаев также, русского духа и разнюхать не могут. Для иного отечество его департамент, министерство, для другого — и это еще благоразумнее — его Саратовская деревня, для некоторых — военная слава России. Но тут еще нигде нет отечества. А многие еще нас укоряют, что мы не лю-

бим отечество, или не так его любим, потому что иное осуждаем, другому огорчаемся (из письма Жуковскому, 4 ноября 1844 г., СПб. [Переписка с Жуковским: 50]).

Из приведенной цитаты видно, что для Вяземского настоящее «отечество» — это прошлое, это не министерства, не военная слава, даже не саратовская деревня, а предания, история, «русский дух». Патриотизм, таким образом, должен заключаться в сохранении прошлого, верности его идеалам, а не в участии в современной жизни. Это допускает и в определенной мере даже предписывает истинному патриоту отъезд за границу, см. в том же письме:

О как я завидую тебе, что ты во Франкфурте. Там ты в своем уединении, в святые счастья своего более в России и для России, нежели был бы здесь. Тютчев справедливо говорит, что за границею живешь Россиюю, только и толков, что о ее величии, о ее будущем, хотя и ругают ее, но и это ругательство дань удивления зависти, страха — а приедешь в Россию *et ella disparait complètement de votre horizon* [Там же].

Это письмо, по нашему мнению, поясняет сюжетные особенности более поздних «европейских» стихотворений в сборнике Вяземского: «осваивая» или «завоеывая» Европу, поэт и его герои создавали «настоящую Россию». А «Россия настоящего», неспособная сохранить свое прошлое, становилась дурной копией Европы — что тематизировано во многих стихотворениях второй части сборника, преимущественно в стихотворных фельетонах из раздела «Заметки».

Таким образом, оппозиция «Россия — Европа» в позднем творчестве Вяземского и, в частности, в сборнике «В дороге и дома» оказывается динамической. Элементы оппозиции взаимно трансформируются, а на высшем уровне оппозиция вообще снимается. Поэтические «обрусенная Европа» и «европеизированная Россия» вместе противостоят современным реальным Европе и России. Заново представляя свою творческую биографию в сборнике «В дороге и дома», Вяземский стремился отделить свое поколение и «своих» от нового, «чужого» — не только во времени, но и в пространстве.

«Русское пространство» в сборнике

Выше мы уже отметили, что сборник П. А. Вяземского 1862-го г. оказался первой его поэтической книгой (собрание сочинений он уже не успел увидеть в печати). В отличие от многих друзей-поэтов (Жуковского и Пушкина, например), Вяземский не стремился к публикации своих сочинений книгами. Очевидно, что столь запоздалое появление сборника — в эпоху, когда поколение автора уже не только сошло с литературной сцены, но и почти вымерло; когда «век поэзии» в русской литературе сменился временем прозы — должно было иметь настоятельные причины. И они нуждаются в пояснении прежде, чем мы обратимся к анализу «русского пространства» в сборнике.

На призывы друзей подготовить полное издание своих стихотворений Вяземский ответил в «Автобиографии» так:

Вы хотите, чтобы я написал и свой портрет во весь рост. То-то и беда, что у меня нет своего роста. Я создан как-то поштучно, и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках... Чем богат, тем и рад. Фасы моей от меня не требуют. Бог фасы мне не дал, а дал только несколько профилей [Вяземский: X, 290].

Эта метафора подразумевает поэтическую «разноречивость» Вяземского, не стилевую, а жанрово-тематическую. Она была связана с творческими установками поэта, с его представлениями о собственном амплуа. В литературе Вяземского привлекало «выражение общежития» — как в высоком смысле («дух времени»), так и в низком («обиходная литература», «газета»). Свое творчество он относил преимущественно к «обиходной литературе»: писал, откликаясь на злобу дня, и самые резкие свои сочинения (эпиграммы, куплеты, сатиры на лица) характеризовал как «беглые выражения минуты, внезапного впечатления», «отпечатление» которых «на умы также есть минутное» [Записные книжки: 159]. Вяземский объяснял свое творческое амплуа особенностями личности:

Я термометр: каждая суровость воздуха действует на меня непосредственно и скоропостижно <...> Я сравниваю себя с термометром, который не дает ни холода, ни тепла, но живет и скорее всего чувствует перемены в атмосфере и умеет показывать верно ее изменения [Записные книжки: 344–345].

Видимо, поэтому, как признавался Вяземский, стихи были ему интересно лишь в процессе написания, а потом становились гадко. Настоящим местом для таких «беглых выражений минуты» была периодика, а не книги²¹.

Что же заставило Вяземского изменить мнение об эдиционной валентности своих стихов? В начале 1860-х сборник поэта из пушкинского круга, сборник, в который вошли стихотворения еще 1820-х гг., воспринимался как явный анахронизм. Демократическая печать откликнулась на публикацию эпиграммами, которые, очевидно, раздражили князя и подтолкнули к выступлению. Он решил, по выражению М. Н. Лонгинова, редактора и издателя сборника, «стать адвокатом в своем деле» (цит. по [Кумпан: 165]), дать отпор оппонентам, защитить себя, свое поколение и свою эпоху. Полемическая направленность определяла жанровый диапазон задуманной книги. Ее должны были составить «Заметки» — короткие сатирические стихотворения и эпиграммы.

Расхождения Вяземского с современностью носили как политический, так и культурно-этический характер. Исходным пунктом их было умственное направление России, оценка и интерпретация которого предполагала соотнесение с европейской историей и современностью. Поэтому его стихи на злобу дня оказались тесно связаны с проблемой русско-европейских

²¹ См., например, в «Автобиографическом введении» к собранию сочинений: «Друзья мои убеждали меня собрать и издать себя... Когда был я молод, было мне просто не до того. *Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками* <курсив наш. — Т. С.>. Типография была тут в стороне, была ни при чем. Вообще я себя расточал, а оглядываться и собирать себя не думал» [Вяземский: I, 1]. Конечно, тут речь идет не о периодике, но показательно, что для самоописания выбрана именно такая метафора.

отношений, что привело к изменению авторской концепции сборника. Он и композиционно, и тематически оказался выстроен на ключевой для автора оппозиции «Россия — Европа». Вяземскому, видевшему в себе наследника пушкинской эпохи, вольнодумцу, много лет проведенному в добровольной опале, позднее — высокопоставленному чиновнику и государственному деятелю, наконец, путешественнику, явно было что сказать неводержанной молодежи об отношениях России и Европы.

При соположении стихотворений разных лет, написанных в разных обстоятельствах и под разными «впечатлениями минуты», вырисовывается еще одна черта поэта, сравнившего себя с термометром. Это способность, по выражению Е. А. Тоддеса, если не к противоположным, то к, по меньшей мере, разным решениям одной идеологической темы²² [Тоддес: 123]. Как нам представляется, подобные разноречия можно обнаружить и в поэтическом решении «русской темы» в сборнике ВДД.

«Зарубежные» части первого отдела («Восток», «Германия», «Швейцария», «Италия», «Франция и Англия») основываются на сюжете «присвоения чужого» Россией или русскими. Этот сюжет встречается и в ряде стихотворений Вяземского, не вошедших в ВДД. Более подробное описание вариаций этого сюжета было представлено выше. Здесь укажем для при-

²² Более подробное изложение концепции Е. А. Тоддеса см. выше. Здесь приведем замечание исследователя, важное для описания «русского пространства» в сборнике: «...самостоятельное развитие национальной темы не характерно для текстов Вяземского, но посредством двух корреспондирующих противоположностей может выражаться реакция на какой-либо “вненациональный” политический или идеологический “раздражитель”, не обуславливающий сам по себе рефлексии именно такого рода. Можно было бы сказать, что основное противопоставление выступает не в конститутивной, а в прагматической функции» [Тоддес: 125]. Иными словами, Вяземский был западником или славянофилом в зависимости от обстоятельств. Однако определял степень этой зависимости он сам, а не официальная власть.

мера на одно стихотворение из раздела «В дороге» — «Осьмое января 1853», особенно показательное для «европейской темы» в ВДД.

Оно находится в подразделе «Франция и Англия» (состоящем, что примечательно, только из трех стихотворений): основная часть текста обращена к Д. Н. Блудову и посвящена воспоминаниям о петербургском праздновании годовщины «Арзамаса», а в финале герой предается лирической резиньяции и в резких красках описывает революционные события 2 декабря 1851 г. в Париже²³, противопоставляя «свирепство черни злобной» и «кровавую бредню» «великого народа, который сам себя великим возгласил» — своим «милым поминкам по веселой старине», когда поэт и его друзья, «другой эпохи старожилы», «скрепляли двух эпох разорванную связь». Франция в стихотворении присутствует лишь как фон для воспоминаний, причем фон контрастный, негативный.

Итак, в стихах первой, «дорожной» части сборника ВДД Европа предстает на сюжетном уровне как объект русского «завоевания» или «освоения» и описывается через сравнение с Россией на уровне мотивов и метафор. В оппозиции «Россия — Европа» позитивно оценивается первая часть, а вторая раскрывается через нее, через сравнение с ней. Несходство Европы с Россией становится объектом порицания, в европейских же красотах поэт обнаруживает русские черты. Лирический герой-путешественник, таким образом, выступает здесь с позиции «руссофила».

Перейдем теперь к русской теме, к представлению русского пространства в ВДД. «Русские» стихи представлены в обеих частях сборника — «В дороге» и «Дома», что задает двойственность объекта. В первую попадают тексты, представляю-

²³ Сюжетный переход осуществлен при помощи нехитрого риторического приема:

Я выхлебал до дна латинской кухни кашу,
 До дна я осушил страданий горьких чашу,
 И вместо сцен родных осьмого января,
 В Париже я застал второе декабря [ВДД: 210].

щие Россию с «внешней» точки зрения героя-путешественника, смещенной разрывом с привычной обстановкой (см. в «Коляске»: «Хоть телу мало в ней простора, но духом на просторе я» [ВДД: 4]). Во втором разделе собраны стихотворения, написанные «дома».

Дорога для героя — освобождение от «ярма привычек», способ «обновиться существом» и броситься в «новые стихии». Он покидает «великолепный желтый дом» столицы, чтобы «войти в самого себя»:

Несется легкая коляска,
И с ней легко несется ум
<...>
Так! Отъезжать люблю порою,
Чтоб в самого себя войти,
И говорю другим: прости! —
Чтоб поздороваться с собою.
(Не понимаю, как иной
Живет и мыслит в то же время,
То есть, живет, как наше племя
Живет, — под вихрем и грозой.
Мне так невмочь двойное бремя:
Когда живу, то уж живу,
Так что и мысли не промыслить;
Когда же вздумается мыслить,
То умираю наяву.
Теперь я мертв, и слава богу!) [Там же: 5–7].

Русское пространство видится герою пространством свободы:

И недоступные обзору
Из глаз бегущие края,
И вольный мир воздушной степи,
Свободный путь свободных птиц,
Которым чужды наши цепи;
Рекой, без русла, без границ,
Как волны льющиеся тучи;
Здесь лес обширный и дремучий,
Там море жатвы золотой —
Все тешит глаз разнообразно
Картиной стройной и живой,

И мысль свободно и развязно,
 Сама, как птица на лету,
 Парит, кружится и ныряет
 И мимолетом обнимает
 И даль, и глубь, и высоту.
 И все, что на душе под спудом
 Дремало в непробудном сне,
 На свежем воздухе, как чудом,
 Все быстро ожило во мне [ВДД: 4].

«Добровольная ссылка» в коляске для героя Вяземского — освобождение от служебной ляжки, притворства, жизни «в чужих красках», «светской барщины» и т. п. Они остаются принадлежностью «домашней» России. Склонность поэта к «разноречиям» заметна и здесь. Путешествие оказывается и «заточением» в подвижной тюрьме, и освобождением от «заточения» в повседневной рутине.

Начало сборника ВДД («Коляска. Вместо предисловия») явственно проецируется на «Паломничество Чайльд-Гарольда» и эпизоды «Путешествия Онегина»²⁴, что мы отметили выше и что задает образ лирического героя, сюжетное развитие и стилевое решение поэтического путешествия. Однако ироническая (по отношению к покидаемому «дому») интонация, заданная во вступлении, в разделе «Россия» быстро сменяется лирической и даже патетической:

Пусто все, однообразно,
 Словно замер жизни дух;
 Мысль и чувство дремлют праздно,
 Голодают взор и слух.
 Грустно! Но ты грусти этой
 Не порочь и не злословь:

²⁴ Параллель ясная: лирический герой, обуреваемый жадой освобождения, покидает родину, которая представляется ему в самом мрачном виде; ее сатирический образ создается нагромождением характерных деталей, описание насыщено субъективностью, при этом лирический герой постоянно отвлекается от сатиры на рефлексии и авторефлексию.

От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.
Степи голые, немые,
Все же вам и песнь, и честь!
Все вы — матушка Россия,
Какова она ни есть! [ВДД: 65]

Вяземский (вполне традиционно) противопоставляет «дом»—Петербург всей остальной России. Действительно, «душный» «желтый дом»²⁵ — это столица. Пока герой находится внутри России, для него она делится на идеализированную «дорожную» и сатирически изображаемую «домашнюю». После пересечения героем границы русское пространство, обозреваемое «из далека», теряет дифференциацию («снаружи» Россия прекрасна, и *capale Grande* сравнивается с Невским проспектом, что, по Вяземскому, является возвышающим сравнением).

Только взгляд изнутри обнажает сложность русского пространства, причем проявляется она в свойственных поэту «разноречиях». Выше была процитирована «Коляска», где герой превозносит путешествие, но в стихотворении «Дорогою» (не вошедшем в сборник) та же дорожная тема дана в противоположной трактовке:

Я на себя сержусь и о себе горюю.
Попутал грех меня оставить сень родную,
Родных привычек нить прервать, пуститься в путь,
Чтоб темно где-нибудь искать чего-нибудь.
Счастливый уголок моей уютной дачи,

²⁵ Каламбурная игра с формулой «желтый дом» здесь очевидна. Конечно, стихотворение было написано в 1820-е гг., задолго до «России в 1839 году» де Кюстина, и представления о Петербурге как столице «империи фасадов» желтого цвета еще были (вероятно) принадлежностью устной культуры, а не авторитетного текста. Но примечательно, что яростный оппонент французского путешественника вставил стихотворение с этими строками (теперь ассоциативно связанными и с Кюстиновым сочинением) в свой сборник 1862 г. — когда уже никто не заподозрил бы его в оппозиционных настроениях.

Досуг — я променял на почтовые клячи,
 На душную тюрьму, на маль-пост: то-то пост
 И пытка! [Вяземский: XI, 297].

Ср. также стихотворение «Кибитка» в «Зимних карикатурах»:

А подвижной сей каземат,
 А подвижная эта пытка,
 Которую зовут: кибитка,
 А изобрел нам зимний ад [ВДД: 39].

В нем стоит отметить и совершенно иное отношение героя к русскому морозу, который был так любезен Вяземскому в Венеции:

Нет, воля ваша, господа!
 Когда мороз дерет по коже,
 Мне теплая постель дороже,
 Чем ваша прыткая езда [Там же: 38].

Кроме колеблющихся оценок в разных текстах, «русское пространство» у Вяземского может в пределах одного текста наделяться оксюморонными характеристиками («безобразно, однако прекрасно»). На этом построен сюжет стихотворения «Очерки Москвы» (вынуждены повторить приводившиеся выше цитаты):

Твердят: ты с Азией Европа,
 Славянский и татарский Рим,
 И то, что было до потопа,
 В тебе еще и ныне зрим
 <...>
 Величье есть в твоём упадке,
 В рубцах твоих истертых лат!
 Есть прелесть в этом беспорядке
 Твоих разбросанных палат [Там же: 49].

Этот же прием видим в стихотворении «Памяти живописца Орловского»:

Север бледный, Север плоский,
 Степь, родные облака —

Все сливалось в отголоски,
Где слышна была тоска,
Но тоска — струя живая
Из родного тайника,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска [ВДД: 79].

Тут же дана парадоксальная характеристика русских дорог как действенного средства пробуждения патриотически-ностальгических чувств в путешественнике: «Не увидишь, как проскачешь / И не чувствуешь скачков, / Ни как сердцем сладко плачешь, Ни как горько для боков» [Там же].

В русском характере, как и в русском пространстве, достоинства являются продолжением недостатков. Безобразие русской *физиогномии* Вяземский описывает как самобытность и оригинальность, противопоставленные европейской нивелировке²⁶:

Здесь личность есть и самобытность,
Кто я, так я, не каждый *мы*
<...>
Нет обстановки хладно-вялой,
Упряжки общей, общих форм [Там же: 50].

В России Вяземского обнаруживаются, с другой стороны, и черты европейского — на уровне приобщения к высокой культуре. Русские писатели — такие же «подвижники высокого служенья / Во имя грамоты, добра и просвещенья», что и европейские, они входят в один «союз любви международной» (стих. «Берлин. Барону Мальтицу» [Там же: 101–106]). Сама Россия, хотя и наделена некоторым сходством с Евро-

²⁶ Даже прямо сатирические стихотворения вроде «Зимних карикатур» нельзя, кажется, расценивать как «западнические». Во-первых, карикатура предполагает гиперболизацию характерных черт; во-вторых, в том же разделе мы видим противоположное решение темы русских зимних дорог; наконец, укажем на намерение Вяземского «многое исправить» в этом стихотворении и внести его в сборник лишь после исправлений (впрочем, не реализованное).

пой, сохраняет свое лицо, и в этом ее преимущество. Память о прошлом («в тебе и древний мир, и новый»), по Вяземскому, единственный способ сохранения культурного пространства.

Так выглядит «русское пространство» с точки зрения героя «в дороге». Россия «домашняя», изнутри — показана во втором разделе сборника, и там она выглядит иначе.

В первой части отдела, «Разные стихотворения», собрана преимущественно рефлексивная и медитативная лирика вне жанровых определений: «Былое», «Бессонница», «Друзьям», «Остафьево», «Вечер», «Лес горит», «Тропинка». В начале помещены четыре стихотворения, образующие тематическое единство: «Любить. Молиться. Петь», «Молитва ангелу-хранителю», «Молитва» и «На церковное строение». Кроме того, среди «Разных стихотворений» есть стихотворения «на случай» — приветствия в стихах или песни-поздравления (Блудову, Крылову, Жуковскому, Иванову).

«Дом», «домашнее» русское пространство, в первом отделе сборника связанное с Петербургом, здесь определяется совершенно по-другому. Дом лирического героя — не столица, а имение, не Петербург, а Остафьево. Однако действительно домашним пространством становится метафорическое пространство памяти. Поэтический сюжет интериоризуется:

В себя ли опущу я взор свой безотрадный —
 Все те ж развалины, все тот же пепел холодный
 Печально нахожу в сердечной глубине;
 И там живым плодом жизнь не сказала мне
 («Сознание» [ВДД: 232]);

Житейских битв волнение и тревога
 Меня смущают: духом я пуглив —
 И вчуже мне, с домашнего порога,
 Далеких гроз ужасен дикий взрыв
 («Уныние» [Там же: 228]);

Всегда искал я целей новых
 И не достиг ни до одной;
 Ценою опытов суровых
 Я дослужился на покой
 («Желание» [Там же: 270]).

Он строится уже не на пространственных, а на временных оппозициях. Постоянная тема «Разных стихотворений» — течение времени, несущее утраты:

Когда припомню я и жизнь, и все былое,
Рисуется мне жизнь как поле боевое,
Обложенное все рядами мертвых тел,
Средь коих я один как чудом уцелел
(«Битва жизни» [ВДД: 224]);

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь один влачусь в пределах строгих
Известного размера бытия.
Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем все ближе и темней;
Усталых дум моих полет стал низок,
И мир души безлюдней и бедней
(«Я пережил...» [Там же: 226]).

Как в дорожном отделе, здесь появляются стихотворные посвящения друзьям. Но они по преимуществу оказываются посмертным приношением (см. «Песнь на юбилей И. А. Крылова», «Песнь на день рождения В. А. Жуковского», «Приветствие В. А. Жуковскому», пара стихотворений «А. А. Иванову» и «На смерть А. А. Иванова»), т. е. становятся не данью дружбе, а отсылкой к прошлому, апелляцией к памяти. Поэт таким образом воскрешает забытое или забываемое, восстанавливает «эпох разорванную связь». Все это, опять же, переводит основную сюжетную коллизию ВДД в область не пространства, а времени.

Однако связь ключевой пространственной оппозиции «Россия — Европа» с оппозицией «прошлое — настоящее» может быть прослежена. Как мы отметили, превосходство России, согласно Вяземскому, обусловлено ее укорененностью в прошлом, в истории. Именно прошлое для поэта и есть настоящий «дом», т. е. действительно «свое» пространство.

По сути, в двух частях ВДД выстроены разные образы «дома». Бежав из «великолепного желтого дома», герой сначала открывает Россию дорожную (оксюморонно-прекрасную), за-

тем за границей убеждается в превосходстве России, а по возвращении прозревает свой истинный «дом» — *Iocus amoenus*, пропитанный воспоминаниями о блаженном былом, а не поглощенный скаредным настоящим.

Последнему посвящен последний подраздел сборника — «Заметки». Они, из замысла издания которых вырос сборник, оказались в итоге лишь финальной частью (впрочем, после этих довольно злобных эпиграмм автор поместил «Слово примирения»). Эпиграммы, адресованные «наследникам Белинского», «красным», любителям односторонней гласности, современным журналистам, как бы возвращают читателя вместе с героем в «великолепный желтый дом» Петербурга, который теперь противопоставлен «своему» пространству Остафьева.

Но Петербург во второй части двойтся, как Москва в первой: неназванный Петербург в «Заметках» — современное зло, в подразделе же «Разных стихотворений» мы находим стихотворение «Петербургская ночь» («Дышет счастьем, сладострастьем упоительная ночь...»), в котором городской пейзаж решен в «венецианском ключе»:

Дышет счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!
Блещут свежестью сапфирной
Небо, воздух и Нева,
И, купаясь в влаге мирной,
Зеленеют острова.
Весел мерные удары
Раздаются на реке
И созвучьями гитары
Замирают вдалеке²⁷ [ВДД: 274].

²⁷ Стихотворение посвящено, очевидно, певице Judith Pasta (1798–1865), в 1840 г. посетившей с гастролями Петербург. Интересна высокая оценка ее пения в этом стихотворении Вяземского, кото-

Подобно тому, как в первой части сборника Венеция уподоблялась Петербургу, теперь Петербург уподобляется Венеции (ставшей «местом памяти»). То же происходит и с немецкой природой (см. два примера — «К ***» и «Немецкая природа»): она становится дорога поэту, потому что именно там ему светила «знакомая звезда». Ироническая окраска первого стихотворения сборника на ту же тему снимается — благодаря введению темы личной памяти:

Я немецкую природу,
Добрых немцев быт люблю,
Их сердечность, их природу,
Даже страсть их к *бutterброду*
Постигаю и делю.

<...>

Но увы, меня не встретит
Там знакомая звезда,
Мне приветно не посветит,
Сердце сердцу не ответит.

Как в счастливое *тогда*

(«К ***» [ВДД: 279]).

Любуясь жизнью и счастлива,
Как добрый немец без забот,
Она себе, за кружкой пива,
Du lieber Augustin поет.

Легко здесь жить с природой дружно;
Но вот в чем трудность и напасть:
Переродиться в немца нужно,
Чтоб на немецкий лад попасть
(«Немецкая природа» [Там же: 144]).

Подведем некоторые итоги. Как нам представляется, в поэтической картине мира Вяземского любой объект (человек, нация, страна, культура, даже вещь) может существовать в двух модусах — «историческом» и «неисторическом», то есть может иметь свою историю (прошлое, память) или не иметь, быть вне ее. Безусловно позитивно оценивается первый. Если объект лишен истории, его право на существование подвергается сомнению либо негации. Поэтому в сборнике ВДД есть два «дома» (современный Петербург, безличный, беспамятный, наполненный злом и поглощенный политикой; и блаженные Остафьево и прочие «места памяти») и две Европы (современная, забывающая свою историю и «русскую славу» —

рый был опытным ценителем оперного искусства — притом, что, по замечаниям современников, лучшие годы певческой карьеры Пасты миновали уже к 1830-м гг.

и за то проклинаяемая поэтом²⁸; и другая Европа — ассоциирующаяся с высокой культурой, к которой причастны и русские, она только и имеет право на существование²⁹).

Эта абсолютизация памяти и истории в сборнике снимает пространственное наполнение оппозиции «Россия — Европа». Ключевая оппозиция получает метафорический характер, а ее содержание определяется в соотношении с другими значимыми оппозициями («прошлое — настоящее», «история — отсутствие корней»). Обращение оценки «русского пространства» (идеализирующий *взгляд извне* и иронический *взгляд изнутри*), как нам представляется, делает сборник ВДД первым опытом русской эмигрантской поэзии — притом, что Вяземский никогда не был действительно эмигрантом.

ЛИТЕРАТУРА

- АБТ: Архив братьев Тургеневых. Вып. VI: Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Пг., 1921. Т. 1: 1814–1833 годы.
- Бондаренко: *Бондаренко В.* Вяземский. М., 2004.
- ВДД: *Вяземский П. А.* В дороге и дома. СПб., 1862.
- Вилла Бермон: *Вяземский П. А.* Вилла Бермон. СПб., 1865.
- Вяземский: *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. СПб., 1878–1896. Т. I–XII.
- Вяземский 1984: *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика / Сост., подгот. текстов, вступ. статья и коммент. Л. В. Дерюгиной. М., 1984.
- Вяземский 1986: *Вяземский П. А.* Стихотворения / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург; сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. Л., 1986.
- Гиллельсон: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: жизнь и творчество. Л., 1969.

²⁸ Ср.: «... *belle France* — Тамбовская губерния» (цит. по: [Лит. наследство: 120]).

²⁹ Ср. в письме: «Англия — рай человеческий, рай рукотворный, умотворный, как Италия — рай небесный. Только эти две страны и стоят чего-нибудь, а все прочее хоть потопом залей» (цит. по: [Лит. наследство: 119]).

- Гинзбург 1926: *Гинзбург Л.* Вяземский-литератор // Русская проза. Л., 1926.
- Записные книжки: *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813–1848) / Изд. подгот. В. С. Нечаева. М., 1963.
- Кумпан 1986: *Кумпан К. А.* <Примечания> // Вяземский П. А. Стихотворения / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург; сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. Л., 1986.
- Кумпан 1990: *Кумпан К. А.* История издания поэтического сборника Вяземского «В дороге и дома» // Русская литература. 1990. № 1.
- Лит. наследство: *Дурылин С., Нечаева В. П. А.* Вяземский и Франция // Литературное наследство. Т. 31/32. М., 1963.
- ОА: Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Вып. I–II.
- Переписка с Жуковским: Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842–1852) / Вступ. ст. и подгот. М. И. Гиллельсона // Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Л., 1980.
- Письма Дмитриева: Письма И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому 1810–1836 годов (Из Остафьевского архива). СПб., 1898.
- Прохорова: *Прохорова И. Е.* «Петербург» П. А. Вяземского: публицистика и историософия // Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. Т. 2, ч. 1: Литература XIX – начала XX веков: новые взгляды и концепции. СПб., 2008.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 17 т. М.; Л., 1937–1949. Т. XIII.
- РА: Русский Архив. 1900. № 1.
- Степанищева: *Степанищева Т.* След Жуковского в поэтической системе Вяземского // Пермьяковский сборник. М., 2010. Ч. 2. С. 165–181.
- Степанищева 2013: *Степанищева Т. П. А.* Вяземский — переводчик оды Горация // Сборник научных статей к 60-летию проф. Б. А. Каца [в печати].
- Тоддес: *Тоддес Е. А.* О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 года // Пушкинский сборник. Рига, 1974. Вып. 2.